**АНГЕЛЫ ГОРОДА ЕЦКА**

У каждого города есть свои призраки.

Эле казалось, что у Ецка, накрытого противоракетным куполом и застрявшего между двух империй на долгие девять лет, призраков было больше, чем живых. За годы обстрелов в куполе появились бреши. Снаряды падали на улицы, уродуя город, и превращали его жителей в призраков. Те, кто ушел из города в надежде защитить его, потом тоже возвращались. Невидимые почти для всех, они приходили вязью воспоминаний. К родным. К матерям, умеющим ждать как никто другой, к слишком рано повзрослевшим детям. К жёнам с выцветшими глазами и ломкой, кривоватой улыбкой на губах, с беглой сигареткой – затянуться, чтобы не расплакаться.

Ещё о них помнили те, кто вернулся живым. Они помнили о всех –
и за всех. Но делиться воспоминаниями могли только с ночью, заглядывавшей в окна (ещё не везде заново застеклённые, прикрытые фанерками, затянутые плёнкой, хлопающей на сквозняке). Смотрели, как листья пятнают жёлтым мокрый асфальт, сжимали немеющие пальцы в кулак.

Что они видели под дождём? Серые тени? Едва ли. Их память хранила живые лица. Тени видела только Эля. Даже не видела – чуяла. Осень выдалась стылой, и Эля думала: это потому, что их очень много здесь. Они приходили прощаться. Отогревались о взгляды родных, об осколки прежней жизни, бережно хранимой и возрождаемой сейчас, и становились всё тоньше, прозрачнее, поднимались ввысь – за облака, набрякшие дождём. Теплели души. Уходили в иные дали.

Живым было сложнее согреться. Можно было заколотить щели в домах, завесить окна одеялом, раздобыть буржуйку, если коммуникации перебило. Но… Душу согреет только родная душа. Люди за годы войны вели себя по-разному. Некоторые сбивались в стаю, узнавали наконец, кто живет на верхнем этаже, в соседнем подъезде, в доме за углом. Пережидать обстрелы приходилось в самых разных компаниях. Выстаивать очереди за водой – тоже. Общая беда стирала внешний налёт индивидуальности, сметала личные границы, обнажала нутро. Просвечивала тебя как рентген. И на контрасте очень хорошо были видно серд-
це. Насколько оно у тебя большое. Есть ли оно вообще? Бьётся ещё?.. Разделишь с соседкой пятилитровку? У неё ведь нет никого, а сама она дальше двора не ходит – ноги, варикоз, зрение на нервной почве упало… Или сбежишь в свою конуру? А потом удивишься шаркающим шагам: «Элечка, мне здесь гостинец передали…».

Были и те, кто, иссечённые потерями, усохшие от страха и ожидания, выпадали из это парадигмы всеобщей поруки. Они просто не могли приблизиться ни к кому другому. Смотрели словно из тоннеля на свой город и жизнь, которая пыталась вернуться на прежние рельсы. Мирные.

Да, над городом больше не летают ракеты. Не нужно пригибать голову и втягивать её в плечи, чтобы сбегать за хлебом или в аптеку.
И сводки в чате t-ма читать больше не нужно.

Можно слушать птиц утром и мелкими глоткам цедить кофе. Невозможно горький. Роза не умела его варить. Но она вставала первой – на смену в больницу. А Эля, изглоданная бессонницей, как раз засыпала перед рассветом. Но кофе они успевали выпить вместе. У окна с вечно приоткрытой форточкой – для Боцмана, полосатого кругломордого кота, с покоцанным ухом и обмороженным кончиком хвоста. Раньше он приходил к бабушке Валентине в 57-ю, а когда она однажды не вернулась, попросился к Розе.

Потом к Розе пришла Эля. Кот великодушно принял и её – лишь бы кормила и гладить не забывала. Сегодня он застал Элю одну на кухне и тут же взобрался к ней на колени. Так они и просидели до тех пор, пока Роза не прибежала на обеденный перерыв.

Из левого глаза у Эли бежали слёзы – вся щека была мокрой. А правый был сух и привычно уже обездвижен, только шрамы покраснели и припухли. Левой рукой она гладила Боцмана между ушей, а правая удачно спряталась у него под боком. Культя ныла в сырую погоду.

Елена – Эля – Евгеньевна Сидоренко наполовину ослепла, но ей повезло: она родилась левшой, поэтому, потеряв правую кисть, не утратила привычные навыки. С Розой Берг они учились вместе в медицинском колледже. Окончив, Эля уехала в далёкий северный город к парню (с ним не сложилось). А Роза вышла замуж здесь, в Ецке. Муж её ушёл добровольцем. До мира он не дожил три года. Роза не была на передовой, осталась в роддоме, там тоже не хватало рук. А Элька, вернувшаяся, как только узнала, что Ецк попал в тиски, пошла туда вслед за братом. Брата успела найти, а спасти не успела. Вместо брата были десятки других – юных и не очень, изломанных, изрезанных осколками, обожжённых, но не сдавшихся. «Бросай меня, – хрипели они. – Уходи». В Эле было пятьдесят килограмм живого веса и славное спортивное прошлое за спиной. Эля не умела бросать.

Они, конечно, ругались. У неё не хватало дыхания отвечать. Только улыбаться.

После первой контузии её перевели в госпиталь, в город. Там уже хватало дыхания и на улыбки, и на песни. Эля напевала, усевшись между кроватями, рассматривала квадраты лунного света на полу, что выписывали узор поверх ромбов линолеума. Отодвигала подальше таз с неубранными бинтами. Пятна на них были чёрными под луной. Ржавыми – под лампочкой.

Эля тогда ещё не курила. Но голос все равно садился – от усилий и подступавшей к сердцу горечи. Она пела колыбельную. Которую мама напевала ей и брату. Одну и ту же мелодию. Теплую, как детство, оставшееся далеко позади.

…Гули, гули, гуленьки,

сели возле люленьки...

Сели гули на кровать,

стали гули ворковать,

при-го-ва-ри-вать…

От всех остальных песен душили слезы. Тогда они ещё были.

Днём её мальчики слушали рэп. От него не щипало глаза.

Долго в госпитале она не смогла. Песни и весёлые – несмотря ни на что! – мальчишеские глаза будили душу. Они улыбались ей: «Не дрейфь, сестричка, прорвёмся!» Сжатая в комок душа расправлялась, как кусок бумаги, брошенный в угол. Было больно. Видеть их – изломанных и храбрившихся, терпеливых, упрямо привыкающих к протезам, скупых в разговорах с родными – чтобы не расстраивались!

И видеть других. Тех, кто попал сюда в плен. И знать, какой за ними тянется след. Не за всеми, конечно, но… Всё равно!

Там, между взрывами, под кажущимся бесконечным дождём осколков, не успевало болеть. Надо было просто делать свою работу. Быстро, слаженно, без лишних вопросов – к себе и другим. Мужчины так работали из года в год. Им некуда было отступать. Ецк был в тисках. Союзники не брали к себе. А к тем, кто забрасывал город снарядами, не хотелось – даже через едва маячивший мирный путь. Сёла и деревни вокруг переходили из рук в руки. Кто не успел уехать, устали бояться. Душа, издёрганная страхом и надеждой, напоминала обуглившуюся головёшку: тронешь – рассыплется пеплом. Эти люди серели лицом и всё реже смотрели в небо. Они хотели слиться с землёй, прорасти в неё – вглубь, чтобы не выбило никаким снарядом.

Когда союзники наконец-то приняли Ецк и область, то бои вскипели с новой силой. Кровавой пеной окрасили дни. Злости с обеих сторон было не занимать. Тогда Эля и ушла второй раз на передовую. Душа, начавшая было расправляться, почернела. Горькие сводки. Переполненные палаты. Странные обмены…

Она знала, что если и в этот раз уцелеет, то кошмары, как волки, догонят ее. Выгрызут сердце. Вылижут кости. Она не знала, хочет ли уцелеть.

Мама умерла ещё до войны. Инсульт. Слава погиб в первый год... Папа дождался её. Его ни разу не зацепило, хотя дом посекло. Но его сердце – устало. И однажды он не проснулся. Яблони уже отцветали… Эля нашла записку в его старой телефонной книжечке (смешная дань памяти, ушедшей эпохи): «Ты к нам не торопись, дочка. Дождись мирного неба». Эля не дала слезинке сползти по щеке. Ушла штопать тех, кто своей кровью землю поливал, чтобы небо таким – стало.

Конечно, мальчишки её берегли. Они всегда берегут девчонок. Хоть и делают вид, что на равных. Эля платила им как могла за заботу. У неё были быстрые пальцы, верная рука.

«Если Элька заштопала, заживет как на собаке!»

Эля шила, приговаривая – жарким шёпотом поперёк сердечного стука. Во рту у неё пересыхало…

«Элька заговорит хворь и беду».

Но когда отступали от Лима, Эля не отвела свою.

Из окружения многие вырвались. Она осталась с теми, кто не успел. Кто остался лежать под звёздами, между рыкающих БМП. Эля знала, что как только рассветёт, куст ракиты не скроет их, не спасёт. Знала, что боец с дивным именем Нур, чья стриженая голова давит ей сейчас на колени, не доживёт до утра. Он истекал кровью, когда она его нашла. Он ничего уже не просил – губы побелели. Но когда притянула его к себе на колени, прошептал: «Мама». И она гладила по вискам и шептала: «Да. Сынок. Спи, родной».

Ночь разбросила над ними звёздное покрывало. Эля легла на спину, когда его не стало.

Когда рассвет пополз серыми пятнами по развороченным холмам, она тоже поползла. Она не знала, куда. Знала, что живой не дастся. У Нура была «расправа».

Овраг её спас, но лишил глаза – раскуроченная крыша УАЗа из склона торчала. Руку оторвало позже. Когда она бросила «расправу» в лицо тому, кто её к себе за ботинок тянул, сплевывая и воняя. Вывернуться и откатиться не успела, зацепилась правой рукой.

Подобрали свои, когда Лим возвращали обратно. Ругались сильно. Но Эля знала, за *что* руки и глаза не стало.

Эля штопала только своих. А тех, кто в госпиталь попадал «оттуда», кто шипел сквозь зубы «шлюха», когда она систему ему в вену вставляла, тех она не гладила по вискам. Им она такую «нитку» в рану вживляла, чтобы их потом ни на кого не обменяли.

«Небо стало мирным, папа. Смотри – не летит, не жужжит тихонько, воздух не замирает. Можно идти, папа, не торопясь. Дома ещё чёрные стоят, да. Их отмоют. Окна меняют быстрей – зима скоро. Те, кто дождался своих, возродят этот город, заново всё отстроят. Дороги перелатают, поправят заборы. Только у старого тополя не отрастёт верхушка. Дуб в парке тоже сгорел… Зато аллея липовая уцелела. Мама любила сидеть там, там она Славу по дорожкам катала. А меня уже нет. Я во дворе под окном спала в клетчатом одеяле. Я посажу вам всем липу и первоцвет. Чтобы родной запах не забывали. Слёзы бегут, папа, но мне не больно. Это всё кот – он зачем-то согрел меня, и из груди выскочила иголка. Развязался узелок. Вот и Роза смотрит, а говорить боится. Через стол тянет мне платок…»

Боцман, мурча, соскочил с колен, побежал к Розе – рыбу учуял в пластиковом контейнере. Минтай на овощной подушке. Эля помнила меню наизусть.

– Что, этот котяра и тебя растормошил? Я когда его подобрала – после баб Вали – две ночи ревела, он ложился под бок и тарахтел. Сашку вспоминала, как он храпел, а я ворчала. Но знаешь… Полегчало на серд-
це. Дышать как будто легче стало.

Эля высморкалась, встала, разминая затёкшие ноги.

– Я пойду. Надо пройтись, сама еще не пойму, легче мне или нет.

– Ты бы спать легла. Бери полосатого и ложись. Ночью все равно опять спать не будешь. Смотри, тебя же из стороны в сторону ведёт!

Эля опёрлась о стену и рассмеялась.

– Знаешь, я когда в себя в больнице пришла, думала, я на оба глаза ослепла. Видела только серые тени вокруг. Много. Но потом всё меньше. Бледнели и улетали.

– Кто?

– Души. Тех, кто жил здесь, но не вернулся. Они прощаться приходят.

– Ну тебя! – Роза замахнулась крышкой контейнера, масляные капли упали на пол, Боцман бросился вылизывать. – Иди уже! Проветри голову. Элька, нет в этом городе мёртвых душ. Только живые.

А я кто? Мёртвая или живая? Уцелела – но для чего? От кошмаров бежать? Видеть раз за разом, как гаснет взгляд, вспоминать ледяные пальцы, вспоминать, что от некоторых только пальцы и остались… Живые строят город. Помогают друг другу. Они не для этого девять лет выживали – чтобы сейчас умереть. Мужчины – словно сжатые пружины – они до сих пор в строю. Когда увидят, что дом отстроен, что детям есть где есть, спать, учиться, тогда улыбнутся, похлопают по плечу и однажды наутро не проснутся – кончился завод. Они точно знали, зачем идут на войну. Не выбирали, не метались, не разменивались, делали дело. Не таили большего зла, чем злость удара. Старухам на обочине отдавали паёк, детишкам – сахар, девчонкам – улыбку. Молодые, у кого сердце поновее – не рубец на рубце, – поживут подольше. Родят сыновей, дочкам нежность свою подарят…

Поля в этот год зарастут травой. Потом мины вытащат и заново вспашут.

А я?

Быть живей, чем есть, слишком больно. В пальцах прежней силы нет. Зашивать и утешать. Да и пальцев теперь вполовину меньше.

Эля спрятала культю в карман.

Роза крепкая. Она ещё встретит парня. А не встретит – возьмет сиротку, и заживут втроём с котом. Роза добрая. Потому войной её и не перешибло надвое. Надо было мне тоже – в роддом. Тёплых крошечек мамам в руки передавать. Но Славка… Как бы он там без меня?..

Я не успела остановиться, далеко зашла... Далеко-о-о. Там черна вода. Птицы не поют... Волки по следам идут. Воют. Интересно, те туда же идут? Те, кто наутро не проснулся. У кого руки были по локоть в крови и кому было *мало*. Те, кого коснулась моя рука. Потому её и не стало…

Эля шла к липовой аллее. Посидеть между чёрными стволами на скамейке. Перевести дух и вспомнить наконец того парня – из своих! – который кричал начмеду: «Убери её отсюда! Убери! Не видишь, какой она стала?! Не пускай её в палату к ним!..»

Его на одну ночь положили в это крыло. Мест не было. Надя – с пустыми глазами – лечила одинаково всех. Ни слова. Сухо и без ошибки –
быстрей переведут туда, где ждут суда. Эля так не смогла. Некоторых она знала слишком хорошо – по их делам. Некоторые сами выдавали себя, плюя ей на халат. Она никогда не выбирала – кого.

Новый парень, Матвей, не спал. Болела нога. Но не от боли он скрипел зубами: «Собаки. Мы вас живыми взяли. А вы кусаетесь, брешете, как и раньше брехали, и всё вспоминаете, скольким глотку и *как* рвали…» При нём псы затихли. Их пятеро было. Двое с синими от наколок руками, с пьяными от рожна глазами. Остальные, ошарашенные, больше молчали, иногда «спасибо» роняли, глаза отводили.

Эля сделала вечерний укол – потянулась «ниточка». Наутро один не проснулся. «Оторвался тромб», – скупо сказала. Матвей костылём выбил стекло в двери, кричал через весь коридор: «Борисыч! Забери её! Забери! Нельзя *так* делать наше дело!»

Эля помнила, какой чёрной волной захлестнуло тогда сердце – и оно омертвело.

За такого, как Матвей, она б и в огонь пошла. И шла! Вытягивала их из воронок. Живых, голубоглазых, честных – до пены у рта, умеющих только в бою правду добывать, всё, что исподтишка – им поперёк горла. Но когда гонит такой – только бежать, захлёбываясь горечью и стыдом.

И она побежала.

Добрела до скамейки. Пока шла, слёзы высохли окончательно, голова кружиться перестала. Села тихонько, колени к подбородку притянула. «Живой он? Матвей. Увидел мирное небо? Простил… меня? Сходить к Наде, спросить, куда он попал после выписки?..»

Она долго сидела на ветру. Липы шелестели, роняли листья на черный асфальт, на гладкие, блестящие брусья скамеек. Фонари зажглись – через один. Накрапывал дождь – то сильней, то тише. Похолодало. Рука ныла противно, сжать бы её в кулак… Если в Ецке живут только живые и ангелы, что родных навещают, то я его призрак. Полуживой, усталый. Без руки и почти без глаза. Строить новое уже не смогу. Забыть старое –
ещё и не начинала.

Слава, мама, отец.

Саша Розин.

Баба Валя.

Нур.

Артём.

Александр Иванович.

Митько.

Лис.

Имена словно листья – тот же шум, только не вне, а во мне! В моей голове.

Папа! Небо – мирное! А я свой мир растеряла.

От аллеи до первой городской километра два. Лучше на трамвае… Но словно волной сорвало со скамейки, на пару секунд замерла, качнувшись с пятки на носок. Даже если смена не Надина, я всё равно найду и спрошу!

Господи! Пожалей меня! Я так устала!..

Он увидел её со спины. Но узнал сразу – стрижка та же, наклон головы. Пока перебегал дорогу, чуть не упустил из виду, её куртка мелькнула уже в самом конце аллеи. Надя говорила, что после травмы зрение на уцелевшем глазу сильно упало, что Эля почти не разговаривает, не спит… «Как её найти?!» – «Живет у Розки Берг, вот адрес, пиши».

Догнал только после следующего перекрестка, её немного занесло –
с тротуара на мягкую землю под сбитый напрочь балкон. Схватил за плечо. Развернул к себе.

– Погоди!

Так из рук рвутся птицы, а потом замирают, лишь сердце стучит хлёстко – через всё тело.

Отдышалась. Смогла. Узнала. Он высокий такой. Исподлобья смотреть тошно, а в глаза… Уцелевшим одним… Ну, давай, поднимай! Только руку из кармана не надо, не доставай. Хорошенького понемножку.

– Эля, – он перевёл дыхание, но сердце не из-за бега заходится. – Эля, я нашёл тебя.

– Ты… искал?

– Да. Нельзя мне было прогонять тебя тогда. Не имел права… судить.

– Ты не судил, – улыбка, а внутри всё дрожит. – Ты правду сказал. Но… У всего своя цена. Я заплатила, что смогла, – она неловко дернула плечом в надежде освободиться.

Но он держал крепко, слушал внимательно, наклонясь. Каждое слово ловил – она шептала, голову в сторону отведя.

– Эля, я знаю всё. Не прячься. Я… и не такое видел. И ещё раз посмотрю.

Она медленно повернула лицо. Что ж смотри.

Но глаза зажмурила, не смогла.

– Эля…

Он, конечно, пальцем по шраму – не удержался. Жалеет? Злится внутри, что не защитил? Они все злились и отводили глаза, бессильно ругались. Только Аркадий Николаевич штопал и шутил: «Элька, тебе повезло. Ты левша, переучиваться не придется. А на правую протез выпишем. Из столицы!»

Разлепила веки.

– Ты простил меня?

– Я? Мне нечего прощать. Бог простит, Эля. Тебя и меня.

Где-то наверху хлопнула форточка. Посыпались крошки – прямо над его плечом. Голуби слетелись мгновенно. Будто ждали. Воркуя, клевали – кто быстрей. Эля поискала взглядом белого. В сумерках только его и видно.

– Проводишь меня? Я на Пролетарской живу.

– Пойдём.

Он наконец-то разжал пальцы, стискивающие плечо. Выдохнул. После первого квартала заметил, как она дрожит. Стянул куртку, укрыл. Сопротивляться не стала, только кивнула: спасибо. Поправил на левом плече – сползала.

– Твои уцелели? – тихонько спросил.

– Нет. Мамы давно не стало. Слава… Брат. В первый год погиб. Папу полгода назад похоронила. А ты… Всех дома застал?

– Я доброволец. С Арала. Не уезжал, тебя искал.

– Теперь можешь ехать. Ведь ждут!

– Не знаю, – пожал плечами. – Мне эта земля родной стала.

– Как нога?

– Зажила.

– У Аркадия Николаевича легкая рука. Мне б с ним тоже повезло, если б было что пришивать, – она вытянула руку из кармана.

– Всё смеёшься. Даже когда не смешно.

– Я сегодня и плакала. Похоже, слишком живой стала.

– Эля… Я приду к тебе ещё?

– Приходи.

Дождь закапал сильнее. Они ускорили шаг, рука сама потянулась к руке – так верней. Не потерять. Не потеряться. Не оступиться. Подняться. Чувствовать у плеча плечо. Сжимать пальцы в горсти, поглаживать огрубевшими подушечками тонкую, словно пергамент, словно крыло бабочки, стянутую то ли от холода, то ли от ожога кожу…

Даже в глаза смотреть не надо. Смотреть можно в небо. Серое, мягкое от туч. Без всполохов и «фонарей». Чистое небо. Мирное.

– Эля, – чуть помедлил. – Ты таким его представляла?

Подняла взгляд.

– Не знаю, – повела головой. – Думала, будет лето, будет светло…
И пушинки летят, в волосах застревая.

– Да, – он кивнул.

Эле показалось, где-то рядом упало на землю перо. Белое. Видно, снова кружит над городом голубиная стая, белые перья на небо роняя.